



Фебруари Уотерс было девять, когда она — посреди урока математики, на глазах у всех — воткнула себе в ухо “тикондерогу” номер два. Учительница писала мелом на доске таблицу умножения на двенадцать, поэтому у Фебруари появилась возможность заточить карандаш, скрежет которого привлек внимание витавших в облаках детей, и их взгляды устремились на нее, пока она шла через весь класс к учительскому столу. Фебруари неловко влезла на вращающееся кресло с тканевой обивкой, потом взобралась на стол, расставив ноги пошире, и всадила карандаш глубоко в левое ухо.

Класс дружно ахнул, и это вывело заворуженную доской учительницу из задумчивости. Она сняла Фебруари со стола — кровь шла сильнее, чем учительница ожидала — и взвалила ее себе на плечо; всю дорогу до медицинского кабинета за ними тянулся тонкий алый след.

Вытащив грифель и определив, что рана поверхностная, медсестра остановила кровотечение и отвела Фебруари через холл в кабинет директора, где секретарша

подготовила приказ об отстранении от занятий за “агрессивное и буйное поведение, неподобающее ученику”. Потом, едва только было решено, как именно связаться с родителями Фебруари, ее отправили домой на неделю.

Одноклассники Фебруари, оставшиеся в кабинете 4-Б, провозгласили ее героиней, собственной кровью купившей им двадцать пять минут безнадзорного блаженства. Администрация школы, напротив, сочла этот инцидент криком о помощи, учитывая “семейные обстоятельства” Фебруари, как их называл директор. На самом деле, объяснила Фебруари отцу, когда он приехал за ней, она совсем не злилась, а просто устала слушать таблицу умножения, жужжание лампочки в разбитом плафоне над партой и скрежет металлических стульев по полу. Он не знает, каково это — постоянно что-то *слышать*, сказала она. И с этим он поспорить не мог.

Окончательно Фебруари сорвалась, когда Дэнни Браун, сидящий у нее за спиной, прокричал нараспев: “Февралька-вралька, желтый снег пожуй давай-ка!” Только глухие люди могли назвать свою дочь Фебруари, подумала она тогда. Названия некоторых месяцев были вполне приемлемы в качестве имен для девочек — Эйприл, Мэй, Джун, — а ее родители явно что-то недопоняли в этой традиции. С другой стороны, они всегда предпочитали зиму, безмолвное величие снега, укутывающего чинкапинские дубы, а красоту в кругу глухих, где росла Фебруари, было принято ценить. Друзей ее родителей безвкусица не смущала, и Фебруари никогда не замечала, чтобы кто-нибудь из них иронизировал над ее именем. Ей не хотелось уходить из этого круга и уж тем более менять его на такую враждебную среду, как четвертый класс.

*Ты можешь считать себя
частью мира глухих, — ска-
зала тем вечером мама,
подтыкая ей одеяло. —
Но никогда больше так
не делай.*

Конечно, теперь все по-другому, думает Февруари, глядя на двор школы для глухих Ривер-Вэлли и шустрясь от утреннего солнца. Интернет открыл для глухих людей целый мир, и их культура обогатилась, вообраз в себя множество популярных шуточек и сленговых слов. Да и какие только имена не дают своим детям слышащие люди — названия фруктов, животных, сторон света.

Мир глухих больше не убежище для нее, а место работы, и сейчас она здорово влипла. Как директор школы она должна держать руку на пульсе. А она совершила худший из возможных поступков — потеряла чужих детей. Двух мальчиков, Остина Уоркмана и Элиота Куинна, учеников десятого и одиннадцатого классов, соседей по комнате.

Перед Клерк-холлом полиция припарковала фургон с мобильной системой наблюдения, с помощью которой они получают доступ к камерам Министерства внутренней безопасности в Цинциннати и Колумбусе. Они пытаются определить местоположение мальчиков по GPS, но это только возвращает их в общежитие, где под столом в комнате отдыха обнаруживаются три сложенных аккуратной стопкой телефона. Наличие третьего телефона приводит к еще одному кругу проверки комнат, но все ученики на месте. Приезжают родители Элиота и Остина и кричат на смеси языков на Февруари, на полицейских, друг на друга. Приезжает Суолл, начальник окружного управления образования, и тоже кри-

чит, требуя у Фебруари ключи от ее кабинета, чтобы он мог войти туда и написать обращение. На все мобильные номера в ближайших окрестностях будет разослано оповещение. А Фебруари придется выступить в утренних новостях.

Она сбегает в туалет для младших классов, закалывает волосы и красит губы перед низенькой раковиной. Переживает, нормально ли выглядит эта рубашка, и тут же упрекает себя за то, что думает об одежде в такой момент.

Она возвращается во двор и останавливается около полицейского фургона. Уже видно, что для месяца, в честь которого ее назвали, день будет не по сезону теплым — снега нет, в каплях росы на траве отражается солнце. Красивый и ухоженный газон засеян иглтонским мятликом, который уже зазеленел, хотя весна еще не наступила, — этот выносливый сорт она выбирала сама, потому что он отлично подойдет для пикников и игры в “разрывные цепи”. Она всегда прилагала все усилия, чтобы ученикам здесь жилось как можно лучше.

Фебруари пытается собраться с духом перед выступлением, подыскать слова, которые могли бы утихомирить истерику или, по крайней мере, не подливали бы масла в огонь. “Потерялись” — это неправильно, не стоит так говорить: она их не теряла. Скорее уж они сбежали, хотя в таком случае школа будет ассоциироваться с тюрьмой. Слово “беглецы” заряжено тревожными смыслами, намекает на жестокое обращение. В конце концов она останавливается на “пропали” — пассивном варианте, позволяющем ни на кого не возлагать ответственность.

Появляется Суолл и вручает Фебруари обращение, школьные фотографии Элиота и Остина размером восемь на десять дюймов и большую кружку. Глотая кофе,

она разглядывает фотографии — оба мальчика одеты в рубашки, выглядят опрятно и смотрят доброжелательно, хотя и не то чтобы улыбаются. Глаза у Остина знаменитого зеленого цвета Уоркманов, светлого, почти мятного оттенка. У Элиота — такие темные, что кажутся практически черными, и она пытается не отводить от них взгляда, чтобы не видеть шрамы на его щеке. На мгновение ее охватывает чувство, что мальчики смотрят на нее в ответ, и она часто моргает, чтобы отогнать эту мысль. Потом она отдает кружку Суоллу и поднимается на импровизированную трибуну.

Когда их выводят в прямой эфир, Фебруари показывает фотографии и откладывает их, чтобы одновременно вслух и жестами кратко описать приметы каждого мальчика, а потом переходит к обращению начальника управления образования: Школа для глухих Ривер-Вэлли круглосуточно сотрудничает с шерифом округа Колсон и делает все возможное, чтобы вернуть своих учеников в целостности и сохранности как можно быстрее. Если вы увидите этих детей, пожалуйста, позвоните по номеру на экране. Когда она произносит последнюю фразу, в кармане у нее вибрирует телефон. Отвлечшись, она выдерживает паузу чуть дольше, чем стоило бы. Репортеры обрушивают на нее шквал вопросов, в основном неразборчивых, за исключением вопроса от стоящего ближе всех к ней человека:

Не беспокоит ли вас судьба мальчиков, учитывая их особенность?

Фебруари ощетиливается. Она знает, что сейчас не время рисоваться, но надо что-то сказать.

Да, меня беспокоит судьба моих учеников, — говорит она. — Как беспокоила бы судьба любого пропавшего подростка.

Но если они не слышат...

По уровню интеллекта они ничем не уступают своим слышащим сверстникам.

У них есть импланты?

Фебруари ошеломлена тем, как беззастенчиво он требует от нее ответа, но старается этого не показывать.

Я не уполномочена разглашать информацию о здоровье несовершеннолетних по телевидению, сэр, — говорит она.

Репортер краснеет, но еще не готов лишиться внимания публики:

Есть какие-нибудь свидетельства преступления? Ожидаете ли вы уголовного преследования?

Он прижимает микрофон к ее подбородку и бросает на нее сочувственный взгляд, в котором сквозит фальшь.

Прошу прощения, я должна поговорить с полицией, — отвечает она.

Она отходит от трибуны, но лицо репортера так и стоит у нее перед глазами. Он прав — Элиот и Остин подвергаются большей опасности, чем если бы были слышащими, хотя и не в том смысле, который он имел в виду. Что, если патрульный увидит их и окликнет, но они не остановятся? Что, если им действительно нужна помощь, но у них нет возможности позвонить в полицию? Что, если все кончится хорошо и они вернутся невредимыми, но органы опеки используют этот инцидент как повод усилить свое влияние в дебатах о кохлеарной имплантации? Она читала, что такое происходило в других штатах. Фебруари приходится прикусить губу, чтобы не поддаться панике, — она снова забегает вперед. Она проверяет телефон. Сообщение было от Мэл: ты как? Она не знает, что ответить. Засовывает телефон обратно в карман и, подняв глаза, видит еще одного родителя, отца Чарли Серрано, прислонившегося к полицейскому фургону.

Доктор Уотерс? — говорит он, и его голос оказывается гораздо тоньше, чем можно предположить по его фигуре.

Не сейчас! — хочется закричать ей. — Ваш случай отложим до другого раза.

Но она держит себя в руках и вместо этого говорит:

Мистер Серрано, у нас тут небольшая проблема. Кампус сегодня закрыт, так что пусть Чарли еще побудет дома.

Он бледнеет.

Вы хотите сказать, что ее здесь нет?

Нет, а... у вас все в порядке?

Просто, кажется, вчера вечером она ушла из дома, и она не с моей бывшей женой, так что я подумал, может быть...

Он обводит взглядом двор.

Мать твою, — бормочет она себе под нос. Три телефона.

Что? — говорит отец Чарли.

Он наваливается на машину всем телом, сжимает руки.

Я сейчас, — Фебруари указывает на опознавательные знаки полиции, наклеенные на кузов, — только введу их в курс дела.

Подождите...

Я быстро, правда, сэра, — говорит она. Потом обходит фургон, и ее выворачивает на переднее колесо только что выпитым кофе.

ШЕСТЬЮ МЕСЯЦАМИ РАНЕЕ



Летом перед тем, как Чарли пошла в десятый класс, долгий бракоразводный процесс ее родителей подошел к концу, отец выиграл битву за право опеки и отдал ее в школу для глухих.

В августе в Колсоне, штат Огайо, было так душно и так много комаров, что погода стояла почти как в тропиках; все вспотели, пока шли от парковки до суда, и в атриуме отец снял пиджак, а мать промокнула лоб носовым платком с “турецкими огурцами”. В зале судья огласил свое решение, но Чарли слышала только шум промышленного вентилятора, стоявшего на подоконнике рядом с ними. Он выдувал прядки из ее хвоста, и в конце концов она оставила попытки пригладить их и занялась подсчетом панелей в деревянной обшивке стен.

Когда судья закончил, ей потребовались все силы, чтобы не закричать: НУ И ЧТО ТАМ? Но она просто вышла за родителями на улицу, где оказалось, что спрашивать не нужно. Глаза и матери, и отца блестели от слез, но отец улыбался.

Обе их команды дорогих адвокатов шли нос к носу, и в конце концов Чарли решила, что именно паршивая

успеваемость — еще один семестр, который она закончила только благодаря тому, что никого не оставляли на второй год, — больше всего повлияла на вердикт судьи. За ней числилось и много дисциплинарных нарушений еще с начальной школы, хотя на бумаге проблемы выглядели давно решенными. В реальности это было не совсем так, но большинство взрослых мало интересовались реальным миром, за исключением тех случаев, когда угрожали подросткам предстоящим изгнанием в него. Что бы ни подтолкнуло судью к его решению, Чарли просто радовалась, что свалит из своей прежней школы. В Джефферсоне малейшая оплошность могла привести к тому, что над человеком издевались годами. Насколько она поняла, одного мальчика до сих пор дразнили за роковой пук на физкультуре в шестом классе, так что, сколько ни представляй себе, что могло ждать глухую-но-не-немую девочку-киборга, на самом деле все было еще хуже. Девочкам всегда хуже.

Теперь все будет по-другому, — сказал отец, когда они возвращались в его квартиру.

Конечно, решение суда сопровождалось оговорками. Чарли все равно придется носить имплант во время занятий, даже несмотря на то, что от него болит голова, даже несмотря на то, что именно его бесполезность стала одной из причин развода ее родителей, хотя они никогда бы в этом не признались. “Никто не виноват” было у них в семье мантрой. Но никто в это не верил.

Когда Чарли была маленькой, ее отец однажды прослушал на Ютубе серию симуляций слухового восприятия после кохлеарной имплантации. Чарли стояла рядом, пока он смотрел одно видео за другим, но звук из динамиков был неразборчивым.

Это ужасно, — сказал он. — Как в “Изгоняющем дьявола”.

Ей не страшно, — сказала ее мать. — Она не знает, как оно должно звучать.

В какой-то степени она была права. Куда страшнее для Чарли оказалось то, что мать говорила о ней так, будто ее вообще не было.

Мать Чарли была консультантом на конкурсах красоты и музыкантом, но никогда не испытывала тех же чувств, что и герой “Опуса мистера Холланда”, хотя, если бы и испытывала, легче не стало бы. Отец Чарли, программист, регулярно имел дело с новейшими работками, и, видимо, как раз по этой причине ему было легче смириться с их недостатками. Он рос с глухим двоюродным братом Антонио, которому, как думала Чарли, повезло родиться в семидесятых годах в семье, работающей на ферме. Родители Антонио недавно переехали в США и сами пока не очень хорошо знали английский, поэтому их не терзал страх, что он не сдаст экзамен или что двуязычие может ему навредить. Его семья выучила некоторое количество слов на жестовом языке, которые он узнал в школе; он закончил учебу, получил специальность паяльщика или что-то в этом роде и превзошел родителей, даром что они были слышащие, в лучших традициях американской мечты.

Чарли гадала, обращались ли ее родители к Антонио, когда узнали, что она глухая, спрашивали ли, что он думает об имплантах и специальном обучении, или же первые годы ее жизни прошли под безраздельной властью материнского страха. В любом случае возможность такого разговора давно осталась в прошлом — Анто-

нию погиб в автокатастрофе, когда Чарли было четыре, и вспоминала о нем в основном только мать, да и то когда проклинала гены своего мужа. Других глухих людей Чарли не знала. Врач сказал, что она должна избегать общения с ними; ей нужно было стать на сто процентов зависимой от импланта, чтобы научиться слушать. Устройство могло только передавать звуки в мозг — оно не могло ни расшифровывать их, ни отделять важную информацию от простого шума. Тем не менее жестовый язык в их семье никогда даже не обсуждался — это был бы чит-код, костыль. Если бы она выучила жестовый язык и смогла говорить о своих потребностях и понимать других, что бы тогда мотивировало ее заниматься звучащим английским?

Многие эксперты утверждали, что лучший способ максимально раскрыть потенциал импланта — это практиковаться, и именно в обычной школе, среди слышащих людей, она будет практиковаться больше всего, пусть и по принципу “бросили в воду — выплывай как знаешь”. В сочетании с терапией это вооружило бы ее инструментами для анализа смысла, скрытого в звуке.

Чарли поставили имплант в три года — возраст не идеальный, но у нее оставалось достаточно времени для формирования новых нейронных связей. По всем стандартам операция прошла успешно, и, хотя никто никогда не говорил ей этого прямо, она понимала: выходит, она сама виновата, что никак не приспособится к импланту. Может, просто недостаточно старается.

Официально в школе ее проблема называлась “оральная дисфункция” (вот повеселились бы ее одноклассники, если бы узнали), и, насколько Чарли понимала, в общем и целом это означало, что когда она говорит, это звучит глупо. Но Чарли не была глупой. Ей просто пришлось всему учиться самостоятельно, причем

в обстановке обычной средней школы, совсем не способствующей обучению: мебель бесконечно скрипит, ученики болтают, учителя изрыгают из себя материал, стоя спиной к классу и что-то записывая на доске. Вообще-то, думала она, тот факт, что она со своим робухом понимает процентов шестьдесят, а при возможности читать по губам даже, пожалуй, и больше, уже впечатляет сам по себе. Но в школе шестьдесят процентов — это все еще D.

Ей очень хотелось избавиться от импланта, хотя она знала, что требование носить его было для ее матери своего рода утешительным призом, лучиком надежды на то, что в один прекрасный день Чарли проснется и начнет улавливать смысл в этих бесконечных помехах, которые он вдальбливает ей в голову. Но передача права опеки отцу, несомненно, стала для Чарли победой. Она поступит в Ривер-Вэлли, будет жить в общешитии, и они вдвоем будут ходить на занятия по жестовому языку, которые школа проводит после уроков. Может, все наконец изменится к лучшему.

Мать не стала обжаловать решение суда, и Чарли почувствовала облегчение, но в то же время немного расстроилась. В передачах по телевизору матери всегда боролись за своих детей; это был смысл их жизни и все такое. С другой стороны, все они уже очень устали от походов в суд.

Теперь Чарли складывала сумки, чтобы перевезти большую часть своих вещей в квартиру, где ее отец жил уже почти год, — новостройку на берегу реки с большими окнами и кухней-студией, типичную “холостяцкую берлогу”, которая — в качестве бонуса — еще и страшно бесила мать, любительницу стиля прованс. Уже оттуда еще часть вещей Чарли собиралась взять с собой в общешитие.

За две недели до начала семестра они с родителями пошли на встречу с директором ее новой школы. Директриса оказалась высокой, фигуристой женщиной с туго стянутыми на затылке черными волосами. Ее внешность показалась Чарли внушительной даже после того, как все сели и разница в росте между ними уменьшилась. Она говорила на жестовом и на звучащем языке одновременно, и ее руки двигались с грацией и скоростью человека гораздо более миниатюрного. Говорить на двух языках сразу — это не самая удобная стратегия, предупредила директриса, и после сегодняшнего Чарли вряд ли часто будет видеть такое в Ривер-Вэлли. Чарли отчаянно хотелось найти смысл в изгибах ее рук, но для этого требовалось отвести взгляд от ее губ, чего Чарли себе позволить не могла. Пока не могла.

Директриса вытащила из принтера несколько распечаток и познакомила Чарли и родителей с учебным планом. Чарли пересдаст алгебру, и ее запишут на углубленный курс английского. Ходить к логопеду все равно придется.

Но как она будет изучать жестовый язык? — спросила мать.

Мы записались на курсы, — ответил отец.

Отлично, — сказала директриса. И снова посмотрела на Чарли. — _____ будет ключевым, — сказала она. — Как и с любым другим языком.

Что? — спросила Чарли.

Директриса достала из-под груди бумаг блокнот.

ПОГРУЖЕНИЕ, — написала она.

Чарли пожала плечами.

Попасть в среду, — сказала директриса. — Жестовый язык придет, если приложить немного усилий.

Чарли прочла на лице матери сомнение — вполне резонное, учитывая ее успеваемость. И разве врачи не го-

ворили то же самое про английский? Еще одно занятие, или еще один сеанс терапии, или посещение еще одного специалиста могут все изменить. Директриса, впрочем, тоже заметила этот скептицизм.

С жестовым языком все иначе, — сказала она. — Твое восприятие запрограммировано на визуальный язык.

Она улыбнулась, и Чарли понимала, что она пытается ее подбодрить, но слово “запрограммировано” напомнило ей о приеме у аудиолога. Чарли видела, как мать роется в сумочке в поисках гигиенической помады — сигнал, который, как она знала, означал, что дискуссия окончена.

С тобой все в порядке? — спросила директриса.

Сначала Чарли не поняла, почему она спрашивает, но потом осознала, что снова потирает шрам за ухом — место вживления импланта. В последнее время шрам побаливал; Чарли даже заставила мать осмотреть его, потому что не могла толком разглядеть его в зеркале сама. Но все выглядело нормально.

Имплант барахлит, — сказала мать с наигранной веселостью и пробормотала что-то о предстоящем приеме у врача.

Уже лет двенадцать, — сказала Чарли, и директриса попыталась подавить улыбку.